



КАТРИН  
**ШАНЕЛЬ**

Последний  
берег

Все о моей  
великой матери

# Катрин Шанель Последний берег

*Текст предоставлен издательством  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6658368](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6658368)  
Катрин Шанель. Последний берег: Эксмо; Москва; 2014  
ISBN 978-5-699-71009-6*

## **Аннотация**

Для Франции наступили трудные времена – страна оккупирована немцами. Для Коко Шанель и ее дочери Катрин Бонер тоже пришло время испытаний – испытаний на верность стране, друг другу, любимым... Катрин помогает партизанам, участвующим в движении Сопротивления и усиленно скрывает это даже от матери, боясь навлечь ее гнев. Они ведь такие разные – Шанель-дочь и Шанель-мать. Однако есть главное, что их объединяет, – кровное родство, любовь друг к другу, преданность избранному делу...

# Содержание

Глава 1	4
Глава 2	9
Глава 3	13
Глава 4	22
Глава 5	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Катрин Шанель

## Последний берег

### Глава 1

Мне все тяжелее и тяжелее писать о своей матери, о Габриэль Шанель, о великой Коко. С возрастом мы лишаемся очень многих иллюзий. Это происходит само собой, невзирая на наши желания, невзирая на то, сколь упорно мы за эти жалкие иллюзии цепляемся. В моем одиноком детстве идеализированный образ матери был для меня единственным светлым пятном в унылой череде монастырских будней. В юности я пылко обожала ее – единственную, утраченную, найденную. Она казалась мне лучшим идеалом человека и женщины. Шанель была для меня самой лучшей, красивой, сильной, прекрасной... Но, достигнув порога зрелости, я убедилась, что мой колосс покоился на глиняных ногах. У великой Шанель, как и у всех, были свои слабости. Она не просто могла ошибаться – она умела виртуозно притворяться, изворачиваться и лгать. Шанель умела манипулировать людьми. Она могла намеренно игнорировать меня, чтобы привести к повиновению. Она не терпела, когда что-то выходило из-под ее контроля, и становилась невыносимой.

Тем не менее я смогла простить ей эти недостатки. Она ведь моя мать. Матерям прощают все.

Или почти все.

На этот раз испытание моей любви к матери совпало с испытанием для всей страны.

В июне тысяча девятьсот сорокового года Франция потерпела оглушительное поражение в войне с Германией и капитулировала. Фашистские войска оккупировали северную часть страны, три пятых французской территории. Они заняли столицу, облепили Париж, как мухи – кусок сахара. Новое французское правительство удобно обосновалось в маленьком курортном городке, известном своими целебными водами. Термальные ванны благотворно действовали на желудок, нервы и даже на репродуктивную функцию. Расслабленное этим целебным действием правительство совершенно успокоилось и смирилось.

– Разве плохо? – хмыкала Шанель, закуривая сигарету. – Пять часов езды от Парижа по железной дороге, мягкий климат; роскошные отели; вокруг городка – фермы, свежая провизия каждый день. Яички от курочки, салат прямо с грядки... О какой войне может идти речь?

– Правительству стоило эвакуироваться в колонии, в Северную Африку, и продолжить войну, опираясь на наш все еще мощный военный флот.

– Но этого не произошло. Значит, нечего об этом и говорить. Теперь французы будут строить лодки для немцев. Ты ведь слышала по радио обращение маршала Петена к французской нации?

– Да. Целебные воды Виши явно ударили ему в голову и произвели там разрушения. Французы не станут помогать германской военной машине!

– Станут, еще как станут, Вороненок. Ты максималистка во всем, и ты идеализируешь свой народ. На военные заводы Германии поедет ценное сырье, поедут молодые французские специалисты... Да к тому же мы будем оплачивать расходы оккупационной администрации.

Шанель была права. Она делала вид, будто ничего не смыслит в политике, будто она готова думать только о прекрасном... Но ее острый ум просчитал все варианты развития событий, и она сделала верные выводы. Несмотря на все реверансы предателя Петена, Гитлер не спешил подписать мирный договор. Мы платили за содержание немецких гарнизонов на своей территории, за строительство военных аэродромов и баз подводных лодок, кото-

рые действовали в Атлантике. Пятнадцать, двадцать миллионов полновесных монет в день выплачивались оккупационным войскам, гестапо и полиции безопасности. Мы не только кротко и без малейшего сопротивления положили голову под сверкающий нож гильотины, но и заплатили палачу звонкой монетой!

И насчет народа Франции мать оказалась права. На словах французы люто ненавидели бошей! На деле же каждый второй француз был слишком ленив для того, чтобы протестовать, слишком привязан к своим маленьким житейским удовольствиям, чтобы не подчиняться существующей власти, слишком податлив и внушаем, чтобы противостоять антисемитским и антикоммунистическим настроениям.

Я узнала, что мои знакомые молодые мужчины вступили в дивизию СС «Шарлемань». Кое-кто за особую доблесть, проявленную в боях на Восточном фронте, даже удостоился Железного креста. Трое сыновей моей пациентки стали добровольцами «Легиона французских волонтеров против большевизма». Юные ландскнехты отправились в Советский Союз воевать вместе с вермахтом против Красной армии. Ни один из мальчишек не вернулся домой. Неудивительно, что их мать окончательно повредила в рассудке. А если уж мужчины соглашались служить новой власти, то уж женщинам не зазорно было отдаться этой самой власти, так сказать, всецело...

Страна отдалась оккупантам, точно несытая любовница. Немецкие офицеры и солдаты стремились покорить как можно больше француженок, познать их прославленный шарм. А быть может, двигала ими извечная жажда завоевателей: впрыснуть свое семя, обеспечить рождение детей с подлинно арийской кровью...

Проституция расцвела пышным цветом. О, где вы, Пышки, воспетые Мопассаном? Среди моих постоянных пациенток была некая Мадлена Леру, страдавшая причудливым неврозом. Она держала несколько публичных домов в окрестностях Парижа. Порой, закончив осмотр и выписав необходимые лекарства, я выслушивала ее жалобы на сложность ее ремесла.

– Вы не поверите, моя дорогая, сколько у нас теперь работы! Девочки буквально сбиваются с ног. Но я говорю им: еще пара лет такого труда, и те из вас, кто не будет зевать и транжирить, смогут удалиться на покой и открыть свое небольшое дельце.

– Те, кто не умрет страшной смертью от сифилиса, – услужливо подсказывала я.

– Да, но нужно беречься, нужно быть внимательной к себе, – объявила эта истеричка.

– Мадлена, а вы читали Мопассана?

– Разумеется! – Сутнерша взглянула на меня удивленно своими прекрасными синими глазами, в которых всегда точно стояли слезы – верный признак истерички.

– А помните рассказ «Койка № 29»?

– Нет, я как-то больше романы. Ах, этот «Милый друг»!

– Прочтите, вам понравится. Действие рассказа происходит во время франко-прусской войны. Там идет речь о женщине легкого поведения, которая нарочно не лечила сифилис, чтоб заразить как можно больше врагов.

– Не понимаю, что вы хотите сказать, – поморгала Мадлена.

– А рассказ «Пышка» вы помните?

Но тут я одумалась. Мое поведение становилось невозможным для врача, который уважает своих пациентов. Но в том-то все и дело, что я не могла уважать Мадлену. Я брезговала ею, невзирая на данную мною клятву Гиппократу. Она казалась мне чем-то вроде опасного насекомого. Это был скорпион, притаившийся в песчаной воронке; паук, стерегущий свою паутину; оса-наездница, оседлавшая жирную, равнодушную гусеницу и парализовавшая ее своим ядом. Для меня насекомое не представляло опасности, я могла раздавить его ногой в один момент, но для своих жертв Мадлена представляла угрозу серьезную и даже смертоносную. Разговаривала я с ней только из желания узнать действительность со всех сторон,

даже с самой что ни на есть неприглядной стороны. Нужно отдать Мадлене должное – она обладала острым и поверхностным умом, свойственным парижанкам. Беседа была бы даже приятной, если бы не дрожь отвращения, что время от времени пробегала по моему телу, как озноб.

– Кстати. – Мадлена попыталась сменить тему, за что я была ей благодарна. – А вы слышали? В Америке проводятся опыты по излечению сифилиса этим новым волшебным лекарством. Пеницилл, или как-то там.

– Пенициллин. Но это пока только эксперименты.

– Да, конечно. Знаете, моя подруга Симона де Бовуар говорит, что избавление от опасности заражения и нежеланной беременности освободит женщин из оков векового рабства...

– Что? – не поверив своим ушам, переспросила я.

– Из оков векового рабства! – громче повторила Мадлена.

– Да нет, не то. Кто ваша подруга?

– Симона де Бовуар. Вы не знаете ее? Как? Она бывает в моем салончике. И ее супруг, конечно, тоже жаловал меня своими визитами. Пока его не мобилизовали. Хотите познакомиться с Симоной? Приходите к ужину в понедельник, она будет у меня. Без мужа, к сожалению. Говорят, он пропал без вести. Несчастливая Симона просто убита горем...

Какие только знакомства не дарит нам Париж! Хотя где же еще бывать знаменитой писательнице и ее супругу, великому философу Сартру? Не в салоне же у Шанель. Они не искали легких путей, не ждали приятных знакомств, жаждали постичь «хаос и абсурд человеческой жизни, чувства страха, отчаяния, безысходности» – как было сказано в предисловии к роману «Тошнота». Где еще было ему ждать вдохновения, как не в салоне содержательницы борделя?

Если бы Сартр не томился в то время в немецком плену – ему было бы где разгуляться в смысле хаоса и абсурда. Ведь абсурдом теперь стал весь Париж.

Первые дни оккупации были днями всеобщего бегства. Парижане снимались с мест целыми кланами и поодиночке, упаковывали чемоданы и бежали – сами не зная куда. Пришли они в себя, видимо, только на берегу Атлантического океана, посмотрели, вздыхая, в туманную даль, и... вернулись назад, на насиженные места. Жизнь должна была наладиться, войти в привычные берега, течь по намеченному руслу...

И она текла, но это была не река, а только тень реки, не жизнь, а иллюзия жизни.

На улицах было полным-полно немецких мундиров, но они вели себя предельно корректно. Я видела, как один младший чин угостил разбившего коленку мальчишку радужным леденцом на лучинке. Они уступали места в транспорте дамам, были почтительны с пожилыми людьми и очень галантны с девушками. Это подкупило французов – они всегда высоко ценили в людях умение следовать правилам хорошего тона. И даже если они негодовали – им не мешало высказываться. Пока не мешало. На улицах и в кафе все так же кипели дебаты – говорили о политике, музыке, выставках. Как будто ничего не произошло. В Мулен де ла Галетт шла новая «роскошная» программа – и в зале сидели офицеры. Солдаты предпочитали цирк Медрано, где выступала знаменитая наездница Микаела Буш. Мчались по кругу три белые лошади в богато украшенных сбруях, и Микаела в тугом трико перелетала со спины одной на спину другой, прыгивала на манеж и щедро посыпала в зал воздушные поцелуи. Видели ли ее близорукие, фарфоровые, сверх меры накрашенные глаза, что в зале полным-полно коричневых мундиров? Скорее всего, да. Но что ей было за дело?

Тонкие ценители музыки шли по привычке во дворец Пале Рояль. Там играл Берлинский камерный оркестр, а дирижировал немец Ганс фон Бенда. Исполняли Вагнера.

Публика попроще отправлялась на Елисейские Поля, где в погожие дни традиционно играл оркестр. Только теперь это был военный оркестр. Оркестр германской армии. Но играли-то они и в самом деле прелестно!

Быть может, и мне следовало включиться в этот иллюзорный поток жизни, стремительно проносящийся мимо меня? Как я жалела, что не могу жить так же просто и легко, как многие мои знакомые, просто плыть по течению, жить сегодняшним днем. Даже сутенерша Мадлена, несмотря на сложный невроз, была куда счастливее меня. И я решила сделать первый шаг к новой жизни – уверила пациентку, что буду счастлива стать гостьей ее салона и познакомиться с Симоной де Бовуар. Мне пора было выйти в свет, я давно уже нигде не бывала.

Но вечер у Мадлен предварился обедом с матерью.

С тех пор как она, вернувшись в Париж, с удивлением обнаружила, что отель «Ритц» реквизирован немцами, ее апартаменты с видом на Вандомскую площадь заняты каким-то генералом, а мебель и вещи вынесены в какую-то кладовую; с тех пор как она поселилась в двух скромных комнатах, выходивших окнами на улицу Камбон; с тех пор как она закрыла Дом моделей – ей больше нравилось вести замкнутый образ жизни.

– Знаешь, Вороненок, в душе я так и осталась диковатой девочкой из провинции, воспитанной при монастыре... В сущности, мне всегда достаточно было скромной кельи с белеными стенами и старого сада за окном, а весь этот блеск и мишура – не для меня.

Эти слова прозвучали особенно смешно в обеденном зале ресторана «Максим», отличавшегося кричащей роскошью. Я улыбнулась, но Шанель и бровью не повела. Если она бралась играть роль, то играла ее до конца.

– Да, да, я теперь живу как монахиня. Начала много читать. Жаль, что ты не заехала вчера. Мы очень мило провели время. Я прилегла на кушетку, а Серж читал мне вслух «Алую букву» Готорна.

– Мама, монахини не бывают в Гранд-опера. Их не посещают скандально известные писатели и поэты, вроде Кокто и Реверди. И балетные танцовщики не читают им вслух.

Говоря это, я вспомнила сестру Мари-Анж. Вспомнила ее усталое лицо и натруженные руки. Ее крошечную келью, заваленную книгами по садоводству, и узкую кровать, накрытую грубым шерстяным одеялом.

– Знаешь, одна моя знакомая монахиня из развлечений признавала только пение. Она говорила, что петь – лучший отдых, чем спать.

– Это, наверное, твоя знаменитая Мари-Анж? А знаешь, она права. Вот и я стала учиться пению. Беру уроки, да-да.

– Ты?

Вот это было и в самом деле забавно! Как-то в минуту откровенности мать рассказала мне, чем она занималась до того, как стать великой Мадемуазель. Пела в кабачке! Она преподнесла это как величайший секрет, хотя это был секрет Полишинеля, о котором знал весь мир. Сорок лет назад в Виши ее постигла неудача в амплу певички. Ни ее голос, довольно слабый, ни ее фигура, довольно тщедушная, не произвели впечатления на директоров увеселительных заведений, и ей пришлось до окончания сезона разливать целебную воду в павильоне «Гранд Гриль». И вот теперь она разучивает арии для бельканто из Верди, Пуччини и Массне!

Шанель рассказывала еще что-то о своих успехах в пении, но я погрузилась в свои мысли и почти не слышала ее, кроша трезубой вилочкой лимонную меренгу. Только когда мать смолкла, я подняла на нее глаза.

Она улыбалась. Улыбалась своей фирменной улыбкой, прославившей ее как писаную красавицу. Эта улыбка была еле заметным движением лицевых мускулов, но она освещала все ее лицо, приподнимала скулы, заставляла глаза блестеть, а губы гореть так, словно их только что целовали.

Так Шанель улыбалась только мужчинам, и только тем, кто ей нравился.

Только тем, кого она вождедела.

Я полагала, что смерть Поля Ириба закрыла эту страницу в жизни моей матери, поэтому даже помедлила, прежде чем оглянуться. Подумала на минуту, что она улыбалась своим воспоминаниям, какому-то милому призраку, который она на секунду увидела в столбах света, падавших из высоких окон...

Но потом я увидела, что Шанель улыбается мужчине в хорошо сшитом сером костюме. Это был высокий худощавый блондин с очень странными глазами – они были серебристые, почти белые.

– Кто это?

– Один знакомый. Неважно.

– Да неужели? – шутливым тоном спросила я. – А мне казалось, у вас с Жаном все серьезно. Бедняга! Ты наставляешь ему рога, мамочка?

Шанель рассмеялась, откинув голову. Я намекала на слухи, распространяемые бульварными газетенками, – о том, что ее брак с Кокто якобы дело решенное. Кокто не отрицал ничего, это и понятно. Ему невыгодно было щеголять своей гомосексуальностью перед фашистами. А матери льстило предположение о возможном браке со знаменитым писателем, к тому же известным своей красотой.

– Рога ему наставляет мерзавец Жан Марэ. Представь, этот нежный голубок с лицом сурового ангела решил поступить как добропорядочный буржуа и женился!

– Вот как? На ком?

– На какой-то польке, ее фамилия Пежинская, что ли. Кажется, шалунишка Жан нарочно выбрал курочку пострашнее, чтобы Кокто не слишком терзался ревностью.

О, в этом была вся Шанель. Она терпеть не могла, когда ее знакомые женились, даже если они были гомосексуалисты, даже если заключали фиктивные браки. Ольга Пежинская, она же Мила Парели – таков был ее актерский псевдоним, – была удивительно хороша собой. Я видела несколько фильмов с ее участием.

Увлечшись сплетнями о наших друзьях, мы совершенно забыли о мужчине в хорошо сшитом сером костюме, только что поклонившемся Шанель и получившем ее заветную, драгоценную улыбку. Но мне показалось, что мать только этого и добивалась – чтобы я забыла.

Но вскоре мне пришлось вспомнить.

## Глава 2

Я через силу побывала в гостях у Мадлены Леру, но не получила от этого визита ничего, кроме разочарования. Знаменитая писательница и феминистка Симона де Бовуар не почтила на этот раз своим присутствием ее салон. Не исключено, что она вообще там не бывала, Мадлена вполне могла позволить себе такую невинную ложь. Как только это стало возможным, я улизнула из ее гостиной, обставленной в самом дурном вкусе. Зеркала и малиновый бархат – в точности как в борделе! Было много мужчин, и каждый, входя, закуривал сигарету, так что скоро вся комната плавала в слоях сизого дыма, а мне стало нечем дышать. Даже оказавшись на улице, я чувствовала запах дыма, им пропиталась вся моя одежда. А что было хуже всего – среди гостей Мадлены присутствовали немецкие офицеры, и эта прекрасная скорпионша встречала их, улыбаясь, как ни в чем не бывало.

На улице моросил дождь, неоновые огни вывесок и реклам казались размытыми. В эту пору Париж выглядел еще более призрачным. Я села за руль сама. Я теперь жила одна в Гарше, на вилле «Легкое дыхание». Дом был слишком велик для меня, если учесть, что из прислуги я держала только экономку мадам Жиразоль – и то лишь потому, что она проработала там целую вечность, и не годилось оставлять без заработка и крова пожилую вдову. Я особенно не дружила с экономкой, которая казалась мне очень ограниченной женщиной, склонной к мелкой тирании. Но она поддерживала в доме идеальную чистоту, варила мне кофе, следила, чтобы я не выходила из дома без плаща, и в мое отсутствие ухаживала за моей собакой Плаксой.

Когда я вспомнила о Плаксе, у меня стало повеселей на душе. Щенка сенбернара подарила мне мать, и я очень привязалась к нему. Правда, Шанель выругала меня за кличку, которую я ему дала.

– Что это за имя такое? Тебе следовало назвать его красиво, например, Солнце. Или взять имя из мифологии, например, имя какого-нибудь героя или бога... Их там полно, и у всех такие красивые имена. Хочешь, поищу в книге?

– Но мне нравится это имя.

Я не стала говорить Шанель, что в первые ночи щенок так сильно скулил, что мне пришлось взять его к себе в постель. Это вошло в обычай, и Плакса все так же спал со мной в изножье кровати и попрошайничал у обеденного стола. Шанель бы этого не одобрила, она всегда говорила, что собака должна знать свое место и есть из своей миски. В таком практическом взгляде на домашнего любимца сказывалось ее простонародное происхождение. Вероятно, моим отцом был все же один из английских аристократов, которые как раз и имели обыкновение впускать любимых псов в столовые и спальни.

– Это свинство, – говорила мама.

Но она редко посещала «Легкое дыхание» и не знала, что Плакса живет далеко не в согласии с ее принципами. А для меня большим утешением была искренняя преданность собаки.

Много это или мало? У других женщин моего возраста были возлюбленные, мужья, дети. А меня дома ждал Плакса, а на службе – пациенты, многие из которых были действительно привязаны ко мне. И все же мне было достаточно этого, если бы...

Если бы не тот юноша по имени Франсуа, который вошел в мою жизнь через окно, израненный и обессиленный. Я врачевала его раны, искала ему подходящую одежду и обувь. Он признался, что его ищут, просил меня о помощи, говорил, что не причинил никому дурного... Я поверила ему, даже оставила его одного и спустилась в кухню, чтобы найти ему что-нибудь поесть... А когда вернулась – его уже не было. Он ушел в чем был, в больничной пижаме и тапочках, ушел, несмотря на морозящий на улице дождь. Впрочем, я волнова-

лась бы сильнее, если бы не услышала, как громко недоумевает дядюшка Журден, садовник, живущий при клинике:

– И куда бы мог деться плащ? Только вечером повесил его тут, в уголку. И не так уж у меня в голове шумело, чтобы я чего запомнил. Да и бог бы с ним, плащ-то все равно уже невидный, старый. А вот сапоги жалко! Прочные еще сапоги, всего шестой год ношу, только недавно подошву поменял...

Пожалуй, Франсуа уютно будет пробираться по грязным лужам в этом длинном про-резиненном плаще, и сапоги ему очень пригодятся. Я дала дядюшке Журдену денег на новое обмундирование и твердо решила выбросить эту историю из головы. Почему я так быстро поверила Франсуа, когда он сказал, что не сделает зла? Украл же он у садовника его барахлишко. Он мог бы обокрасть и меня. Ведь с меня бы случилось впустить первого встречного под мой кров... как я пустила его в свое глупое сердце.

Я медленно ехала по ярко освещенным улицам, и вдруг мое внимание привлекла чья-то сутуленная фигура. Это был Реверди, придворный поэт Шанель и ее бывший любовник. Я затормозила, окликнула его и предложила подвезти. С моей стороны это был только жест вежливости, приятельских отношений между нами никогда не было, и я немного удивилась, когда он любезно поклонился и полез, пыхтя, в салон автомобиля.

– Я провожал нашу дорогую Габриэль с аукциона. Она столько всего накупила, что понадобится несколько подвод.

– Аукцион?

– Антиквариат, – коротко пояснил Реверди.

Пауза становилась неловкой.

– В последнее время так много стало аукционов, – наконец произнесла я.

– Это из-за евреев, – охотно пояснил Реверди.

– Боюсь, я не понимаю, что вы хотите сказать.

– Сейчас с молотка уходят холсты, скульптуры, мебель и драгоценности из галерей антикваров-евреев, которые обязаны освободить помещения в самый короткий срок. Им ведь теперь запрещена профессиональная деятельность.

Постепенно до меня дошло.

– Вы хотите сказать, что Шанель покупала вещи евреев? – спросила я.

– И прекрасные вещи, насколько я могу судить. Две вазы в форме цапель из горного хрусталя, сделанные не позже восемнадцатого века. Комод в стиле шинуазри. И даже шарф брюссельского кружева, принадлежавший, по непроверенным данным, Жозефине Богарне.

– Шарф? Зачем ей шарф?.. Какой-то комод. Я ничего не понимаю. А те, кому принадлежали эти вещи? Что получили они?

– В лучшем случае – деньги и шанс пережить трудные времена в какой-нибудь горной деревушке. В худшем... Полагаю, концентрационный лагерь. А что происходит там – вам лучше и не знать. Впрочем, я по старой памяти считаю вас юной девушкой. А вы уже взрослая женщина, доктор, врачующий человеческие души. Не будете же вы говорить, что ничего не слышали о преследованиях евреев?

Разумеется, я слышала. Антиеврейские законы были приняты во Франции еще в октябре сорокового. Правительство Петена любезно предупредило требования нацистов. Петен учредил «Еврейский статут». В нем предлагались определения, кого считать евреем, и содержался список профессий, запрещенных для них. Отныне евреи не имели права заниматься юриспруденцией и медициной, состоять на государственной службе, владеть недвижимым имуществом. В первую очередь это относилось не к «нашим» французским евреям, а к тем несчастным, что бежали из гитлеровской Германии и оккупированных стран, к тем, кто надеялся найти во Франции приют. Увы – считалось, что они не должны занимать наши рабочие места и наши земли. Правительство Петена осудило их на заключение в гетто, с тем

чтобы выдать затем нацистам. Это решение было проведено в жизнь с последовательной жестокостью. После выдачи гитлеровцам евреев-эмигрантов режим Виши взялся за «окончательное решение еврейского вопроса» во Франции.

– Говорят, что ни одно правительство из тех стран, что уже завоеваны Германией, не принялось уничтожать евреев с таким рвением. А мы... Мы польстились на их денежки. Вам не стыдно за нас? Мне стыдно.

Я чувствовала себя оглушенной. Реверди издал сухой смешок. Невеселый это был смех.

– Чему вы, собственно, удивляетесь? Французы очень жадная нация. Многие очень приличные, высокоморальные люди покупают имущество евреев. А Габриэль никогда не скрывала, что ненавидит евреев и коммунистов. Она не очень-то хорошо понимает, что сейчас происходит, но зато знает, что коммунизм – это когда работники бастуют. А евреи... Она уверена, что, скупая по дешевке их имущество, она всего лишь возвращает свое, кровное. Братья Вертхаймеры ловко обобрали ее во время всей этой истории с духами. Так что евреи идут в одной упряжке с коммунистами, да и от пропаганды не отмахнешься. Видели афиши выставки «Евреи во Франции»?

Я кивнула.

– Но, конечно, не были там, так? А стоило бы. Хотя бы ради интереса к темным сторонам человеческой природы. Вам, как психиатру, этот интерес должен быть не чужд. Выставку организовал Институт изучения еврейства. Большая ее часть основывается на работах профессора антропологии Жоржа Монтадона, известного своей книгой «Как опознать еврея?». И он, знаете, вовсе не немец. Он-то француз, коренной парижанин. По его просвещенному мнению, еврейство оказывает растлевающее влияние на все стороны жизни Франции: военную, кинематографическую, экономическую... Не говоря уж о литературной. Писатели еврейского происхождения разрушают традиции и пропагандируют половые извращения. Каждый день идут тысячи человек! И каждый кое-что для себя вынесет.

У Реверди было очень грустное лицо, и у меня дрогнуло сердце.

– Я должна извиниться перед вами. Я думала о вас дурно раньше.

– Не стоит извиняться, малютка. Я прекрасно знаю, что именно вы обо мне думали.

Шут, приживал, человек без морали и принципов – так ведь?

Я молчала.

– Когда человек беден, это одно. Бедный человек может быть сильным. Но если бедный человек к тому же слаб, да еще и поэт, и к тому же выкрест... Жизнь может толкнуть его на многое. Главное, оставаться человеком. Не быть свиньей... Вы сильная, вам меня не понять.

– Почему же, я вас понимаю, – волнуюсь, возразила я. – Но что мне делать?

– Делайте что должно, и пусть будет что будет. Это лучший совет, который я, старый шут, могу вам дать.

– Может быть, мне уехать?

Я уже думала об этом. У меня было достаточно средств, чтобы начать новую жизнь там, за океаном. Мне нравилась Америка, нравились небоскребы на Манхэттене. Я могла бы поселиться там, в жилом комплексе Кастрл-Вилледж. Стать одной из домохозяек в резиновых фартучках, рекламирующих супы и бисквиты Кемпбелл. Одной из девушек, загорающих на берегу озера Мичиган. Может быть, встретила бы человека, которого бы смогла полюбить.

Но сердце мое, глупое сердце, уже не чувствовало себя свободным.

– Я мало знаю вас, Катрина. Будете ли вы счастливы, покинув родину в трудные для нее годы?

– Трудные? Вот это – трудные?

Я повела рукой, указывая на ярко освещенный бульвар, на переполненные кафе. Женщины, прогуливаясь, громко стучали каблуками – только что вошли в моду очень откры-

тые туфли из фибрена на деревянной фигурной колодке, давшей Шанель повод состричь – мол, не хватало еще, чтобы начали танцевать саботьер<sup>1</sup>. Возле кинотеатра сияла афиша – шел фильм «Набережная туманов». По сюжету солдат колониальных войск Жан приезжает в Гавр, надеясь сесть на корабль и уплыть далеко-далеко. Для этого у него есть свои причины, точно в фильме не указанные: по условиям цензуры слово «дезертир» произноситься не должно. Жан встречает Нелли, и между ними вспыхивает чувство. Девушка втягивает возлюбленного в гангстерские разборки, и он погибает на туманной набережной Гавра под пулями бандитов, так и не уехав в далекую прекрасную Венесуэлу. Роль солдата Жана исполнил Жан Габен; для Нелли подбирала костюмы Габриэль Шанель.

– Именно это, – подтвердил Реверди. – И вы не должны оставлять свою мать. Вы нужны ей сейчас как никогда. Она очень одинока, и... Я боюсь за ее будущее.

– Моя мать? Но...

– Я знаю, знаю. Мне никто не говорил, но я знаю. Бога ради, Катрин. Я умею читать в людских сердцах. Это ненужное, в общем-то, умение – единственная награда мне за мою непригодность в практической жизни.

– Удивительно, – только и смогла сказать я.

– Да, пожалуй, – с удовольствием согласился он. – Любите ее. И любите этот город. Даже если он напоминает вам женщину легкого поведения. Я, пожалуй, пойду прогуляюсь. Спасибо за приятную беседу, моя дорогая.

Я еще о многом хотела бы с ним поговорить, например, рассказать ему о Франсуа, но Реверди уже захлопнул дверцу автомобиля. Некоторое время я смотрела ему вслед, пока его сутулая фигура не исчезла в нарядной толпе.

---

<sup>1</sup> Французский народный танец, исполняемый в деревянных башмаках – сабо. Так как тяжелая обувь не дает возможности делать быстрые движения, то немаловажную роль в нем играют ритмические звуки, производимые подошвами сабо.

## Глава 3

Только через некоторое время я поняла, на что намекал мне Реверди, когда говорил, что он боится за будущее Шанель. На первый взгляд ее жизнь складывалась вполне благополучно, и многие могли бы ей позавидовать. Но так мог думать только человек, не знакомый с моей матерью, с ее постоянной жаждой – жаждой работы, любви, признания...

И вдруг она лишается всего. Или ей кажется, что лишается. У нее остается великое имя, написанное на каждом из сотен тысяч флаконов духов, остаются преданные друзья и деньги – лучшие ее друзья, как она сама однажды создалась. В конце концов, у нее остается дочь...

Но у Шанель нет дела и нет любви. Любовь и дело – вот два столпа ее жизни, вот те киты, на которых покоится ее мир.

И когда она находит любовь – разве может отказаться от нее? Разве может она прогнать от себя этого человека, даже зная, что он – враг?

Нет. И Джульетта не отказалась от Ромео, когда узнала, что он – Монтекки. Быть может, смешно, что я сравниваю Шанель с Джульеттой. Стареющую женщину с насмешливыми глазами, натянутыми жилами на шее, с циничным взглядом на жизнь и язвительным нравом – сравнить с четырнадцатилетней, прекрасной, как роза, робкой, как лань, девушкой.

И все же я рискну. Я хочу оправдать ее не перед всем миром, нет. Шанель была равнодушна к суду людскому, и я унаследовала от нее это равнодушие. Я хочу оправдать мать в своих собственных глазах.

Разумеется, тогда я обвинила ее с легкостью, которая не делала мне чести.

– Ты не могла придумать ничего лучшего? Прыгнуть в постель к оккупанту?

Я не успела договорить – мать ударила меня ладонью по губам. Не больно, без замаха. Я почувствовала холод ее колец.

– Ты говоришь так, словно мы с Диклаге познакомились вчера. Так вот, ты ошибаешься, – сказала Шанель так спокойно, словно и не она только что отвесила мне оплеуху. – Мы знакомы тысячу лет. Я знала его еще в Довилле, он прекрасно играл в поло и коллекционировал трофейные кубки. Мы встречались в свете. Он не какой-то бурбон-офицеришка, что бы ты там себе ни вообразила. Он из хорошей семьи, прекрасно образован, он пресс-атташе при немецком посольстве.

– Избавь меня от перечисления достоинств твоего любовника. Я уже поняла, что он – полное совершенство. Но позволь тебя спросить, о чем ты думала? Как это вообще пришло тебе в голову?

Шанель вполне могла сейчас отвесить мне еще одну оплеуху. Но что-то уже обмякло в ней. Вдруг она стала походить не на изящную парижанку, не на светскую даму, а на простую крестьянскую женщину. Ее лицо погасло, плечи поникли. Подбородком она оперлась о ладонь. Она смотрела на меня затуманенными глазами, и вдруг я представила ее на маленькой чистенькой ферме. Кличка Коко забыта. Руки матушки Габриэль пахнут не духами, а землей и молоком. На ней не элегантный белоснежный костюм с черной отделкой, а шерстяное клетчатое платье и передник. У очага, за накрытым столом собралась семья. Во главе сидит хозяин и повелитель, ее муж. А рядом – дочь с зятем и сын с невесткой. А вокруг бегают внуки и кланчат леденцы.

Шанель выпрямилась, и тут же видение исчезло. Не будет семьи, собравшейся у очага. Не вернется к нам брат, не приведет румяную девушку, чтобы она родила Габриэль внуков. И на меня надежда плохая. Я не создана для брака, и шансы произвести на свет дитя убывают с каждым годом, с каждым днем. Я обречена на одиночество. Так почему же я обвиняю мать в том, что она не хочет быть одинокой?

– Все кончено, Вороненок. Мы капитулировали. Воцарился мир. Пусть позорный, но мир. И нам надо устраивать свою жизнь, как мы можем. Я, по крайней мере, не работаю на немцев. Как мне ни тяжело было, я закрыла дом моделей и теперь шатаюсь, словно неприкаянная. Я могу делать вид, что это не вынужденное безделье, а роскошные каникулы. На самом деле чувствую себя точно так же, как в монастыре, когда в рекреационные дни ко всем приезжали посетители, а ко мне – никто, никогда!

– Если это кончится... Если Германия проиграет войну с Советским Союзом... У тебя будут серьезные неприятности.

– Я не уверена, что это когда-нибудь кончится. А если и так... Что ж, я не афиширую свою связь. Мы нигде не бываем. Да и потом, в чем я виновата? Им просто не надо было позволять сюда приходить, черт побери! Вина лежит на том, кто пустил хорька в курятник, а вовсе не на курах, которые легкомысленно позволили себя задушить! А кроме того, я должна быть благодарна ему, Диклаге, за жизнь Андре.

И, произнеся эту тираду, Шанель закурила.

Я хмыкнула. Судьба моего кузена, сына рано умершей тетушки Жюли, в общем-то, была Шанель безразлична. Она успокаивала свою совесть тем, что посылала ему подписанные чеки с незаполненной суммой. Даже когда он заболел туберкулезом, мать ограничилась тем, что заметила:

– У бедняжки Жюли тоже были плохие легкие, это и свело ее в могилу. Видимо, болезнь передалась по наследству.

И тут такое беспокойство за племянника! С чего бы это? Судя по всему, Андре попал даже и не в концентрационный лагерь, а в лагерь для интернированных, куда отправляли всех, кто оборонял «несокрушимую» линию Мажино. Немецкие войска попросту обошли линию и напали на защитничков с тыла.

– Знаешь, мне был знак, – сказала мать, пряча глаза. Склонная к мистическим настроениям, она стеснялась их. – Кто-то сказал мне, что Андре в опасности.

– Кто же?

– Я думала, это... ты.

– Я?

– Это был голос, очень похожий на твой, Вороненок. И он называл Андре кузеном. А меня мамой. И он так ласково говорил со мной, как ты порой. Когда тебе не кажется, что я поступаю вразрез с общепринятой моралью. Вот только мне показалось...

– Что?

– Этот голос принадлежал мужчине. Нет, юноше.

По комнате словно пронесся ветерок, чуть-чуть пошевелив волосы у меня на висках. Мать выдохнула. Ее щеки горели.

– И я решила, что Андре нужно непременно помочь. У меня не было знакомых... Я обратилась к тому генералу, который, ты помнишь, любезно помог мне получить номер в гостинице. Подарила ему огромный флакон духов для его жены. И он посоветовал мне обратиться к Диклаге.

Только потом мы узнали, что Андре волей случая попал в концентрационный лагерь под названием Найцвелер-Штрутгоф. Хорошего об этом месте было слышно мало – разве что говорили, лагерь славился своей ухоженностью, его украшали роскошные цветники, удобрявшиеся пеплом из крематория...

Найцвелер был не просто лагерем уничтожения – заключенные работали там на каменоломнях, а также служили подопытными для Анатомического института Страсбургского университета, который возглавлял гауптштурмфюрер СС Август Херт. По заказу Херта подопечным Хьютинга прививались желтая лихорадка, тиф, холера, чума, проказа... На них испытывали отравляющие и удушающие газы, сомнительные лекарства и вакцины, а Херт

к тому же коллекционировал черепа евреев и комиссаров. Излишками удобрений комендант приторговывал – предлагал родственникам погибших прах их дорогих покойников, по сто двадцать монет за урну. Считалось, что дорогие покойники умирали мирной и естественной смертью. Но я предполагаю, пепел набирали из одной кучи. Родственники платили, однако претензий по качеству товара предъявлять не рисковали – недолго было и самим угодить в каменоломни, а там и сделать карьеру удобрения...

Между прочим, новый любовник моей матери мало помог в деле вызволения Андре из лагеря смерти. Диклаге был фигурой декоративной, друзья звали его Шпатц, что в переводе с немецкого означало «воробышек». Они бы составили неплохую парочку с Эдит Пиаф<sup>2</sup>. Риббентроп держал Диклаге во Франции не ради дипломатических способностей последнего, а потому, что тот своим шармом, легким нравом, способностями спортсмена и танцора создавал симпатичный образ немецкого офицера. Какие душегубы? Какие мучители? Посмотрите вы, глупцы, как он изящно выглядит в белых гетрах, как нежно улыбается дамам, как утонченно рассуждает о музыке, о театре, о кино, о высоких материях. В его обществе невозможно было думать о колючей проволоке, затянувшей петлю на горле Эльзаса. Он и сам вряд ли когда-нибудь думал об этом.

И все же ему польстила просьба великой Мадемуазель. Он обещал сделать все, что от него зависело. От него мало что зависело, но знакомства у него были обширные, а проблема не то чтобы уникальная по тем-то временам. Тысячи людей металась по Франции, пытаясь освободить своих родных и друзей, и знакомство с кем-нибудь из оккупационных властей ценилось больше денег.

И Диклаге представил Коко Теодору Момму, немецкому офицеру, прекрасному кавалеристу, победителю стольких состязаний по конному спорту. Но главное было в другом – он отвечал в оккупационном правительстве за французскую текстильную промышленность. Разве Шанель мало сделала для Германии! Неужели Германия теперь не может сделать для нее такой малости? О, конечно, конечно. Но Шанель работала для Франции, а теперь надо немного поработать и на благо великой Германии. Кажется, у мадемуазель есть небольшая текстильная фабрика на севере? В местечке, если мы не ошибаемся, под названием Марец? Разумеется, мы знаем, что фабрика уже года два как остановлена, но разве нельзя открыть ее снова? А во главе предприятия должен стоять серьезный человек, которому мадемуазель Шанель могла бы полностью доверять – например, ее близкий родственник...

– Что ж, я рад, что нам удалось добиться взаимопонимания! С такой деловой женщиной, как мадемуазель Шанель, приятно вести дела.

– И с такой прелестной, добавлю я, – сказал Диклаге, склоняясь над рукой Шанель.

– У Момма глаза стали как две плоскости, – посмеиваясь, рассказала мне потом Шанель.

Из этого я поняла, что Диклаге тоже не горел желанием афишировать их связь. Он мог себе позволить проявить свои чувства только перед самыми близкими друзьями (которых у дипломата было не так чтобы очень много). Иначе могли бы возникнуть неизбежные вопросы – не слишком ли много времени у нашего Шпатца? Не слишком ли вольготную жизнь он ведет вдали от поля боя, в то время как наши доблестные войска с таким трудом прорубают себе путь внутрь упрямой, дикой, варварской страны? Не скучает ли он, если ему приходится развлекать себя галантными приключениями с представительницами не вполне полноценной расы? И не желает ли наш милейший дружище Шпатц прогуляться на Восточный, к примеру, фронт? Предпринять небольшую увеселительную поездку под Смоленск, где в ходе одного только сражения немецкая армия потеряла двадцать тысяч доблестных солдат?

---

<sup>2</sup> Игра слов. Прозвище «Piaf» в переводе с просторечного французского означает «воробышек».

И если друзья матери и я просили ее не афишировать свою связь со Шпатцем, то кто-то его просил об этом наверняка. Их роман развивался в непривычной и удивительной тайне. Они не показывались вместе в модных местечках вроде баров «Каррера» или «Серебряная башня». У «Максима» мать обедала всегда только со мной. Шанель и Диклаге не бывали на балах. Вряд ли это имело отношение к осторожности. Просто Шанель взялась тщательно соблюдать режим дня – теперь она ложилась спать не позже полуночи.

– Если твой любовник намного моложе тебя – есть смысл в том, чтобы как можно дольше сохранять остатки свежести, – сказала она мне.

И она изо всех сил трудилась над этой задачей. Мать очень боялась поправиться и смотрела на меня с неодобрением, когда я брала за обедом еще одну булочку или позволяла себе съесть больше одной шоколадной конфеты. Мне-то казалось, что небольшой слой жирка под кожей украшает любую женщину, разглаживает морщины и делает тело соблазнительным. Впрочем, я мало в этом смыслила, да и Шанель придерживалась другого мнения. Она мало ела, мало пила, так и не бросила курить, несмотря на мои предупреждения.

– Курение сушит кожу, – говорила я ей.

– Курение прежде всего сушит фигуру. А кожу я могу увлажнить кремом.

Хорошо, что, заботясь о своем здоровье, мать перестала принимать ненужные ей лекарства – какое-то время мне казалось, что ее пристрастие к некоторым снотворным пилюлям дошло уже до зависимости. Теперь она лучше спала, и настроение у нее чаще всего бывало ровное, спокойное.

Она без страха смотрела в лицо приближающейся старости. Перед такой доблестью я терялась. Мне казалось, что красивая женщина должна бояться состариться. А у меня не было такого страха. Я никогда не была красивой. И все же я жалела о своей уходящей молодости. Я видела, как увядает кожа на шее, как прорезается горькая складочка у рта... Но мать не считала своих морщин. Она только посмеивалась.

– Старость – это как оккупация, – сказала она мне. – Нужно смириться с тем, что все кончено, и просто продолжать жить.

Она одевалась в это время очень нарядно и тщательно. Вопрос гардероба в начале войны стоял остро – как было пополнять его, если больше нет собственного дома моделей? Шить самой? Но Шанель тысячу лет ничего не шила. За нее шили другие, а она только кроила, резала, жестом скульптора отбрасывала лишнее. И все же ей не пришлось снова осваивать подзабытые навыки шитья. Мастерницы, когда-то работавшие на мать, стали работать на себя или на других модельеров – рекомендация швеи, работавшей у Шанель, была ценнее денег. Они с удовольствием соглашались шить для «нашей мадемуазель».

Мать нашла даже башмачника, который сшил по ее заказу и эскизу туфли. Это были очень странные туфли. Я даже рассмеялась, увидев их.

– Ты никак не могла решить, черный цвет тебе больше нравится или белый?

У белых туфель из тонкой лакированной кожи были черные носы.

– Глупышка! Посмотри, какая у меня в них крошечная ножка! Хочешь, я и тебе сошью такие?

– О, я не стесняюсь размера своих ступней. Я воображаю себя с Бертой Большеногой.

– Это кто-то из наших знакомых?

Я подавила вздох. За тот короткий период, пока мать вела жизнь монахини и читала много книг, у нее явно не дошли руки до французского героического эпоса<sup>3</sup>.

Она сшила себе несколько вечерних платьев, необыкновенно роскошных, подчеркивающих изысканную худобу ее фигуры, одно – невероятной красоты из переливчатой, как

---

<sup>3</sup> Персонаж средневековых исторических легенд, невеста, а впоследствии и жена Пипина Короткого. Была подменена самозванкой, но ее узнали благодаря непомерно большим ступням.

крыло бабочки, ткани. Второго такого платья не было в Париже – штучкой материи удружил Шанель тот же самый Момм. Но Шанель в то время почти никуда не выходила. Может быть, она облачалась в эти туалеты в квартире на улице Камбон – только для Шпатца и ни для кого больше. Но были и дружеские вечеринки на вилле «Ла Пауза», куда она меня не звала. Я узнала о них от Мисии.

– Габриэль потеряла голову, ей следует вести себя осторожно. О, я знаю, что она старается, но нужно еще более осторожно! О ней ходят разные слухи. Говорят, что Коко шпионит в пользу Германии...

Это было и в самом деле смешно. Я хохотала бы до икоты. Если б мне не было так страшно. По всему строю своей натуры Шанель тяготела к шпионажу. Быть может, ей было бы даже все равно, в пользу какого государства. Она восхищалась Матой Хари. Ее лавры не давали ей покоя. Мать смотрела все фильмы о Маргарите Гертруде Зелла – таково было настоящее прозаическое имя куртизанки, танцовщицы и шпионки. «Шпионка» с толстушкой Астой Нильсен в главной роли; «Мата Хари, красная танцовщица» с Магдой Сонеи; «Мата Хари» с непревзойденной Геддой Габлер; «Марта Ричард приезжает во Францию» с Делией Колл. Она до дыр зачитала книжонку какой-то приткой американской романистки, где в крайне напыщенных выражениях описывалась жизнь и смерть танцовщицы. Шанель находила много общего между своей судьбой и судьбой Маргариты. Они обе родились в многодетных, но несчастливых семьях. Обе пережили разрыв родителей, раннюю смерть матери, сиротство при живом отце, воспитание у чужих людей. Правда, Маргарита выскочила замуж восемнадцати лет – за какого-то капитана. У Маргариты было двое детей, мальчик и девочка, погодки – это же почти близнецы, правда? И мальчик погиб, отравленный мстительным слугой. Девочке тоже подмешали яд, но она выжила.

Тут мать многозначительно смотрела на меня, словно поразительная живучесть этой несчастной девчонки особенно сближала Шанель и Мату Хари.

В остальном же судьба Маргариты Зелла очень напоминала судьбу Габриэль Шанель. И та, и другая добились успеха. Обе сочиняли про себя многочисленные небылицы, пытались расцветить фантазией бедную ткань своей жизни. У танцовщицы получалось лучше, ей помогал восточный колорит. Если портниха говорила про своего отца, что тот делает бизнес в Америке, то отец танцовщицы был ни много ни мало – король Эдуард, а мать – прекрасная индийская княжна. Габриэль Шанель утверждала, что ее воспитали богатые и чопорные тетушки, она наполняла их дом запахами горящих яблоневых дров, мастики для паркета, крахмала и жавелевой воды<sup>4</sup>. Мата Хари говорила, что ее взрастили в монастыре, где монахини-саньясини обучили ее тайным духовным практикам.

Фантазии были для Маргариты убежищем от домашних дрязг. С мужем она жила плохо. Ей достался алкоголик и неудачливый карьерист. Кроме того, он открыто ей изменял. Читая об этом, Шанель подавляла вздох. Она вспоминала собственные любовные разочарования. Легкомысленные повесы. Морфинисты и алкоголики. Альфонсы. Наконец, те, кто бросал ее ради женитьбы. И продолжали изменять своим женам с нею. Только Поль Ириб ушел из жизни Шанель деликатно. Впрочем, Маргарита тоже была не промах. Она танцевала индонезийские танцы в местной труппе и наставляла постылому мужу рога с другими офицерами. И наконец сбежала от него в Париж, оставив мужу на воспитание дочь. Тоже хороша была мамочка, нечего сказать! Я могу быть довольна тем, что дочь Маргариты умерла в двадцать один год от последствий сифилиса, ничего особенно не достигнув, ничего не совершив, – а я до сих пор жива, прекрасно себя чувствую...

---

<sup>4</sup> Жавелевая вода (жавель, от *франц.* Javel – местечко около Парижа, где впервые стали изготавливать эту воду) – раствор солей калия хлорноватистой и соляной кислот, применялась для отбеливания тканей и для дезинфекции.

Как и Габриэль, Маргарита приехала в Париж без гроша. Их обеих преследовали неудачи. Они были слишком невзрачными, худыми, им не доставало лоска. Вероятно, Маргарите приходилось еще более туго, чем Габриэль, – Шанель еще не успела ввести в моду стройных женщин, ценились пышные формы и роскошь линий. Ее не брали даже в натурщицы – что там рисовать-то, кости одни! К тому же Маргарита, покорявшая Париж, была даже старше Габриэль.

– Я как-то видела ее в школе верховой езды господина Молье на улице Бенувиль. Она была такая легкая, как перышко, и лошадь под ней просто танцевала. Я еще тогда подумала – хорошо бы этой девушке заняться балетом, не классическим чопорным балетом, а чем-то таким экзотическим, жгучим, как она сама...

Не знаю, придумала мать эту встречу или она была реальна. Во всяком случае, не ей одной пришла в голову мысль об экзотических танцах. Кто-то подал Маргарите полезную мысль, и вскоре та уже фигурировала в каком-то модном салоне на благотворительном вечере. До этого она танцевала только вальсы и кадрили, да и то довольно неуклюже – у нее вообще-то было плоскостопие.

Но она делала что-то новое, необычное. Именно поэтому и на Габриэль, и на Маргариту обратили внимание. Но если Шанель одевала женщин, то Мата Хари предпочитала раздеваться сама. То ли восточный танец, то ли стриптиз, усыпанный лепестками роз, пахнущий благовониями, сдобренный пряностями.

Не обошлось без мужчины. Светский бездельник Бальсан дал Шанель денег на ее первую мастерскую. Маргариту взял под свое крылышко промышленник Эмиль Гиме. Он был коллекционер, очень интересовался Востоком и решил добавить Маргариту в свою коллекцию. Он помимо прочего подарил ей и псевдоним Мата Хари, что в переводе с малайского означает «око дня». Под покровительством своего мецената Мата Хари расцветает. Теперь она танцует в музее восточного искусства на площади Иены. Круглый зал убран под индийский храм. Гирлянды цветов обвивают колонны. Струится благовонный дым из курильниц. Откуда-то из-под свода льется непривычная слуху парижан музыка. Разноцветные прожектора выхватывают из полумрака хрупкую фигуру в весьма смелом костюме баядерки. Движения ее легки, как и ее газовые покрывала, которые один за другим оказываются на полу. Медленно гаснет свет. Под дальние и таинственные раскаты гонга обнаженная танцовщица расплывается перед статуей Шивы...

Зал захлебывался восторгом. Удивить Париж стриптизом труднее даже, чем платьем. Но и тут главное – фасон! Фасон Мата Хари был неподражаем. Она была просто стриптизершей, но умела держать себя в свете и прекрасно одевалась. Когда Шанель говорила об этом, она всякий раз вздыхала. Дело в том, что Мата Хари была в числе ее клиенток. Но до тех пор пока восходящая звезда восточного танца не стала шпионкой, она была матери неинтересна. Кто она такая? Плясунья! Но о своем прежнем отношении мать умалчивала.

Деньги, деньги, слава, слава. Мата Хари танцевала в «Трокадеро» и в «Олимпии». В «Комеди Франсэз», в «Гран Серкль», в «Серкль Руайаль». Ее видел весь Париж. Я не видела – я отдавала слишком много времени учебе. Мать видела, но не удивлюсь, если она смотрела вполглаза. Ее впечатляло только то, что касалось ее лично. Только те постановки, костюмы для которых шила она сама. Ей не выпало чести шить сценический костюм для Мата Хари – впрочем, тогда она, может быть, не считала бы это честью, а то и вовсе отказалась бы.

Мата Хари объехала со своим шоу всю Европу, и везде было все то же: восторг, переполненные залы, цветы, драгоценности. Ее осаждали толпы мужчин. Они безумствовали. Но никто не счел бы возможным предложить танцовщице руку и сердце. Один ее поклонник был женат; другой – беден и надеялся поправить свои дела за счет удачной женитьбы; третий – слишком знатен для того, чтобы жениться на плясунье, а четвертый – просто слишком брезглив.

А между тем она не молодела. Думаю, ее тренированное тело не сдавалось легко, но тут парижские актрисочки сообразили: в том, что делает Мата Хари, нет ничего сверхъестественного. Господи, да кто угодно так сможет! И вернувшуюся из европейского турне Маргариту ждал пренеприятный сюрприз – во всех театрах выступали ее подражательницы, и многие из них танцевали куда лучше, а брали за свое выступление куда меньше денег.

Вероятно, она чувствовала себя точно так же, как Шанель, которая закрыла свое дело и осталась без работы. Мата Хари остро жаждала деятельности. Жизнь обычной мешаночки, пусть и хорошо обеспеченной, была не для нее. Да и не была она слишком богата – страсть к карточной игре опустошала ее карманы, ручейки золота просачивались между пальцами, бессонная ночь восходила над зеленым сукном, на котором оставались целые состояния. Она снова кидается в Европу, и в Берлине ее застает война. Она не может уехать, боится преследований немецкой полиции, с которой у нее как-то вышли разногласия из-за скандального поведения. Ей удастся бежать в Голландию, но и в родном Амстердаме она тоскует. У нее нет публики – никто не предоставляет ей зала для выступлений. У нее нет денег – все деньги лежат во французских банках, до них не добраться. У нее нет любовника – все более или менее подходящие мужчины далеко, они заняты своими делами, заняты этой дурацкой войной или политикой. И Мата Хари, видимо, тоже решает податься в политику. Это не может быть труднее танца.

Увы, увы. Для политики ей банально не хватает интеллекта. Ее действия, запутанные и нелогичные, объясняли самыми разными мотивами, но я вижу один: Мата Хари была глупа. Политика сложнее танца. Шпионаж совсем не то, что стриптиз. Те самые мужчины, которых можно было брать голыми руками, когда они сидели в зале и глазели на полуобнаженную танцовщицу, становились угрюмыми и подозрительными в своих дубовых кабинетах. Ранее столь щедрые и галантные, теперь они проявляли неприятные качества вроде мстительности и мелочности. Вот, к примеру, Жорж Ладу, глава французской контрразведки. Полный, но приятный, как медвежонок, пышные усы прикрывают сластолюбивый рот, рот истинного француза, за стеклами пенсне искрятся весельем пронизательные глаза. Мата Хари попала в его кабинет случайно, по ошибке – а вышла очарованной и завербованной. Жорж казался таким душкой! А оказался обидчивым, мстительным хамом. Пусть она, Мата Хари, поступила легкомысленно, проболтавшись, что она теперь завербована. Но ведь она сказала это всего лишь своему дорогому зайчику Вадиму... А еще – своему бывшему дружочку, занимающему видный пост в Министерстве иностранных дел Франции. Ах да, и еще – тому обаятельному английскому следователю. Но там была особенная ситуация! Ее задержали на границе, перепутав по описанию с настоящей немецкой шпионкой, наверняка уродливой толстухой. Три дня ей пришлось просидеть под арестом, не имея возможности даже переодеться, даже вымыть голову, даже подмазать губы! Конечно, после таких испытаний она не могла не открыть всю душу этому тактичному англичанину, она как на исповеди рассказала ему, что – да, она шпионка, но французская шпионка! Да здравствует Франция! А что сделал англичанин в ответ на ее откровенность? Связался по телеграфу с Ладом и наябедничал, как пятилетний мальчишка. Разве так должны вести себя джентльмены? Разве могут они обсуждать между собой дам? Лад повел себя еще хуже – он отказался от нее, сказал, что ему и в голову не пришло бы вербовать такую вертихвостку и болтушку... Как же им обоим не стыдно?

А немецкий консул? Тоже повел себя не слишком хорошо. С удовольствием посещал ее апартаменты в Амстердаме, пил и ел вдоволь, целовал ей ручки и все, что она позволяла целовать... А она позволяла ему многое. Как-то раз она обмолвилась, что в Берлине потеряли весь ее багаж, и сценические костюмы, и меха, и консул предложил ей денег, вполне приличную, хоть и не поражающую воображение сумму – двадцать тысяч франков. Конечно, он сделал это под благовидным предлогом:

– Моя милая крошка, я знаю, вы собираетесь поехать во Францию. Готовы ли вы оказать нам некоторые услуги? Мы хотели бы, чтобы вы собирали для нас там сведения, которые, на ваш взгляд, могут заинтересовать нас. Пишите мне, малютка, не оставляйте своего верного поклонника...

Она взяла деньги и обещала писать, но, разумеется, не написала ни строчки. Мата Хари не привыкла работать. За нее всегда платили мужчины, а она только танцевала, обнажалась, позволяла себя ласкать и баловать. И как им не жаль расставлять капканы для такой чудесной радужной птички?

Мата Хари в своей наивности не понимала, что она сама себе поставила капкан.

– Ты была бы куда лучшей шпионкой, – сказала я как-то матери. – Мата Хари была не так умна. Успешные шпионы – те, которые не попадаются...

– Ты права, моя дорогая. – Шанель выглядела польщенной. – Но подумай сама, какая прекрасная смерть! Вероятно, ей была к лицу даже роба тюрьмы Святого Лазаря! Знаешь, так жалею, что никто не может сказать, какой костюм был на ней в день смерти. Я знаю только, что он был светло-серый. Вот было бы забавно, если бы это была моя работа. Женщина с таким вкусом вполне могла бы... Знаешь, так и вижу, как она садится в автомобиль, отвергая руку начальника караула. Они едут по серым, туманным улицам... Париж в ранние часы всегда выглядит нереальным, призрачным. И в этот мир призраков она вот-вот должна шагнуть... О чем она думала в эту минуту? Говорят, она плакала. Я не верю в это. Если бы она боялась смерти, то согласилась бы солгать, как ей предлагал адвокат, сказаться беременной и тем отсрочить казнь.

– Может, она понимала, что ложь не сработает, и не хотела позора? Ей вызвали бы врача, и ложь вышла бы наружу.

– Ах, оставь, пожалуйста, эти физиологические детали! Ее увозят за Венсенский замок, помнишь, мы гуляли там как-то. Она отказывается от повязки на глаза и посылает воздушный поцелуй своему любовнику: прощай, дружочек, встретимся на небесах! А потом звучит команда, одиннадцать солдат из двенадцати стреляют, а двенадцатый, самый юный, падает в обморок. «Око дня» закрывается навеки...

Мне было приказано не акцентироваться на физиологических подробностях, и все же я не могла не думать о том, что смерть вовсе не так прекрасна, как это кажется матери. Она никогда не была в анатомическом театре, не заглядывала в госпиталь. Она даже не представляла себе, как выглядит тело человека, изрешеченное пулями. Матери казалось, что пуля – это нечто эфемерное, мгновенно останавливающее сердце и позволяющее человеку красиво упасть и прошептать напоследок что-то, что останется в веках. На самом деле пуля сначала обжигает, потом вырывает куски кожи и несет их с собой в глубь тела. Если на ее пути попадает кость – она ломает кость и увлекает за собой острые, как иглы, осколки; если сосуд – она взрывает сосуд фонтанчиком крови. Эту боль невозможно себе представить, от нее человек дергается, как марионетка, и безобразно вопит. А смерть все еще не наступает – даже попадание в голову или в сердце не гарантирует мгновенного избавления от страданий. Мата Хари была еще жива, когда командовавший расстрельной командой офицер подошел к ней. Он выстрелил ей в затылок, нанеся удар милосердия...

– И ее прекрасную голову поместили в Анатомический музей.

– Только потому, что ее тело не было востребовано родственниками, – согласилась я.

Шанель фыркнула, потом засмеялась.

– Но ты же востребуешь мое тело, да, Вороненок? Мне бы не хотелось целую вечность тарашиться из стеклянной банки на дуралеев. Похорони меня где-нибудь в Швейцарии – там так тихо и спокойно...

– Ох, мама, к чему эти мрачные мысли? У тебя прекрасное здоровье.

– Просто иногда я чувствую себя одинокой. В Париже больше нет развлечений, а у меня больше нет работы. Может быть, ты переедешь ко мне? Мне хотелось бы, чтобы рядом был родной человек.

– Извини. Из Парижа мне слишком далеко ехать на службу в клинику. И к тому же меня пугают эти ежедневные, ежечасные аресты.

Я не преувеличивала. Свобода кончилась. Теперь нацисты арестовывали парижан слишком часто, на мой взгляд. В Париже и других городах Франции шли повальные аресты. Десятки тысяч людей были депортированы в концлагеря. Предателей хватало. Американское радио утверждало, что во Франции создана широкая сеть тайных агентов из числа французских коллаборационистов.

– Но пока это касается в основном евреев.

– Евреи тоже граждане Франции, мама. А это значит, что они такие же французы, как и мы с тобой.

– Не знаю... По радио сказали, что при правительстве Петена учредили пост верховного комиссара по делам евреев. На эту должность назначен некто Пеллапуа. Он сказал, что нам необходимо избавить Францию от всех этих чуждых элементов, от полукровок, от космополитов, которые были причиной всех наших несчастий.

– Прискорбно, что ты запомнила его бредовую речь с такой точностью. Если бы ты изучала историю Франции, то знала бы, что первые упоминания о евреях на территории Галлии относятся к первому веку нашей эры. Какие они нам чуждые элементы? Они были тут всегда.

– Я изучала историю Франции! И помню, что их все время выгоняли, а они возвращались.

– Это потому, что здесь их дом.

– Ладно. Я не хочу с тобой спорить. Просто навещай почаще свою бедняжку Коко, хорошо?

– А ты поменьше слушай петеновское вранье, хорошо? Настрой приемник на Би-би-си, может быть, услышишь немного правды.

## Глава 4

Но я не стала навещать мать чаще. И вовсе не из-за евреев.

За мной начал ухаживать доктор Дюпон. У нас были дружеские отношения, и мне не пришло бы в голову влюбиться в него. Тем более что я не раз и не два слышала разговоры сестер, когда вместе с синим сигаретным дымом они выдыхали самые невероятные признания. Доктор Дюпон был их кумиром, ни одну он не обошел своим вниманием. Благоклонность его к той или иной жертве его обаяния была недолгой, но я не помню, чтобы какая-то из девушек была на него обижена.

Неладное я почувствовала в тот день, когда он принес в клинику букет хрупких белых нарциссов и небрежно вручил их мне.

– В честь чего это? – удивилась я.

– Вопрос, достойный истинной феминистки! – заметил доктор. – Разве сегодня не ваше рождение, мадемуазель?

– Вовсе нет.

– Гм. Значит, я что-то перепутал. Но вы же не рассердитесь и примете эти цветы?

– Разумеется. Они прелестны.

И когда на следующий день я пришла в клинику, меня опять ждал букет нарциссов.

– Как? И сегодня не ваше рождение? Надо же, какой я рассеянный. Но если вы мне не назовете этого дня, я вынужден буду дарить вам цветы каждый день.

– Вы разоритесь, – заметила я. Хотя я и не ожидала ухаживаний от сердцеда Дюпона, мне все же было приятно. – В году триста шестьдесят пять дней.

– Какая вы наблюдательная, – рассмеялся доктор. – И весьма бережливая особа! Такая женщина – настоящее сокровище в доме.

Это был уже в своем роде прямой намек, и я удивилась. Я никогда не чувствовала себя несчастной без мужчины, но частенько задумывалась о том, как хорошо было бы ночью положить голову на чье-то плечо. Доктор Дюпон казался мне вполне подходящим кандидатом. Он был человек моего круга, у нас были общие профессиональные интересы, нам было о чем поговорить. Я могла надеяться на то, что он внимательный и умелый любовник, судя по количеству обольщенных им медицинских сестер. Не скажу, чтобы меня особенно прельщала его внешность. Доктор был невысокого роста, плотненький, свои полуседые волосы он стриг коротко, так что они щеткой стояли надо лбом, его живые карие глаза были, пожалуй, слишком близко поставлены, а кончик крупного нос шевелился, когда он говорил. Но, быть может, моя внешность тоже не вдохновляла его на любовные подвиги, и он обратил на меня внимание, руководствуясь движением разума, а не сердца? Может быть, не так уж плохо обрести надежного друга, к которому не испытываешь сильных чувств, но способна пройти по жизни рука об руку?

И я сказала:

– Я избавлю вас от лишних трат, чтобы поддержать свою репутацию разумной и бережливой особы. Приглашаю вас завтра на ужин, чтобы отметить мой день рождения и прекратить этот никчемный цветопад.

– Завтра в самом деле ваш день рождения?

– Нет. Но я никогда не отмечаю этот день, ни одна, ни с друзьями.

Я ожидала вопросов, но доктор только поклонился.

Мне понравилось его поведение. Однако поужинать нам в тот день не пришлось.

Эта молодая женщина была частой гостьей в клинике. Психоз то отступал, то снова обострялся. В период обострения больная стремилась навредить себе всеми доступными способами. Она резала ножом свои руки, ноги, груди, живот и ягодицы. Она пыталась про-

плотить маленькие ножницы, найденные в материнской шкатулке для рукоделия. Когда от нее прятали все предметы, которыми она могла себя поранить, больная билась головой о стены и пол. Ей помогали гипноз и долгая, проникновенная вербальная психотерапия. В периоды ремиссии это была внимательная дочь, подающая надежды художница и просто милая молодая дама. Она даже вышла замуж, но не так давно овдовела – ее муж ушел добровольцем на фронт и был убит. У меня не выходило из головы, что эта смерть сильно напоминала бегство. Видимо, ад в окопах выглядел привлекательней домашнего ада.

Как обычно, больную сопровождала мать. Это была моложавая, со вкусом одетая женщина. Мадам Булль относилась к окружающим с искренней симпатией, а к дочери – внимательно и строго. На самые страшные рыки и судороги своей дочери отвечала:

– Ничего, дорогая, тебе помогут, скоро все пройдет. Возьми же себя в руки.

Это «возьми себя в руки» меня сначала очень смущало. Неужели мадам Булль полагает, что со стороны дочери эта болезнь – всего лишь каприз?

После у меня было несколько сеансов психотерапии с Жанной, и я успела узнать, что ее мать, мадам Булль, – была весьма жесткой и авторитарной женщиной, требовавшей от дочери абсолютного подчинения с самого раннего возраста. Способствовал ли характер отношений матери и дочери заболеванию последней? Я не знаю. Но при взгляде на мадам Булль – всегда подтянутую, бодрую, приветливую, – я думала, что, пожалуй, дисциплинированность, исходящая от матери, не удерживает душевную болезнь дочери в каких-то разумных рамках, а провоцирует ее.

Теперь же мадам Булль выглядела плохо, хуже, чем плохо. Обычно аккуратно уложенные волосы висели вялыми прядями вдоль лица. Под глазами залегли желтые пятна, щеки запали. Когда сиделки увезли ее несчастную дочь в палату, стены которой были обиты мягкой тканью, мадам Булль прислонилась к стене и закрыла глаза. На вялых веках выступили слезы.

– Что с вами?

– Пожалуй, мне необходимо присесть.

В комнате для врачей я усадила ее на кожаную кушетку. Взгляд мадам Булль был расплывчатым, на лбу выступили крупные капли пота. Доктор Дюпон быстро накапал в рюмочку лекарства и поднес ей. Она выпила и сморщилась.

– Я слишком много принимаю лекарств, эта рюмка может оказаться лишней, – грустно пошутила она.

– Вы больны?

– Тут я могу быть совершенно откровенна, не так ли? Да, я больна. Рак печени. Мои дни сочтены. Часики тикают.

– Мне так жаль, – пробормотала я.

Это были дурацкие слова, но кто знает, что нужно говорить человеку, который жив, но обречен на смерть?

– Спасибо, друг мой. Но я не страдала бы так невыносимо, если бы не моя бедная дочь. Кто позаботится о ней? Нищета ей не грозит, она будет хорошо обеспечена...

– Хорошо обеспечена? – переспросил доктор Дюпон, до этого он слушал наш разговор издали.

– Да. Мой муж... Он был кожевенником. После него осталось несколько заводов, приносящих хороший доход. Особенно сейчас. Но если никто не сможет наблюдать за деятельностью директоров, если пустить дело на самотек, то все быстро пойдет прахом. Я подумываю продать заводы, обратить имущество в капитал и поместить Жанну в какую-нибудь швейцарскую клинику, где она может жить под серьезным присмотром до конца своих дней. Это будет лучшим вариантом.

– Капитал в наши дни так ненадежен, – вздохнул доктор Дюпон. – Деньги могут обесцениться, банкир может удрать со всеми деньгами... И даже персонал клиники может оказаться недобросовестным.

Я покосилась на него. Стоит ли сейчас расстраивать больную, если ничего нельзя поделать?

– Я не вижу другого выхода. У нас нет родственников, почти нет друзей, ведь из-за ее болезни мы жили так замкнуто. Кто бы мог подумать, что так все обернется. После моей смерти Жанна останется на свете одна-одинешенька. Кто позаботится о ней?

По желтому лицу мадам Булль потекли слезы.

– Я уверен, все наладится, – сказал доктор и пожал ее локоть.

Налаживать он начал в тот же вечер. Отчего-то состояние нашей пациентки потребовало его неперемногого присутствия, хотя все, что на самом деле ей требовалось, это покой после принятых лекарств. В приоткрытую дверь палаты я увидела, как доктор держит руку Жанны и что-то говорит ей своим мягким бархатным голосом. Больная смотрела на него широко раскрытыми, страшно сверкающими глазами. Видно было, что она не понимает ни слова, но на нее воздействует сам тон голоса Дюпона.

Я тогда решила, что он пытается загипнотизировать ее.

Оказывается, он ее обольщал. Черт побери, эти две вещи бывают очень похожими.

Надо ли говорить, что нарциссы и приглашения к ужину прекратились так резко, что я имела основания считать их собственной фантазией или сном. Доктор Дюпон проводил очень много времени у постели Жанны и прилагал все силы к ее скорейшему выздоровлению. Он имел также и приватные беседы с мадам Булль, состояние которой ухудшалось на глазах. Разумеется, мое жалкое состояние – на один глоток! – ничего не значило по сравнению с кожевными заводами!

Я была рада, что не вышла за человека, которому нужны были только мои деньги, и даже, скорее, благодарна ему.

Как выяснилось, доктор Дюпон питал ко мне противоположные чувства. Люди могут простить, если кто-то делает им подлость, но никогда в жизни не простят того, кому сделали подлость сами. Но это я поняла потом.

А теперь я снова возвращалась в свой тихий и темный дом, стараясь как можно дольше оттянуть момент возвращения.

Во всем доме было очень темно, затемнение было опущено. Войдя в холл, я увидела свет в кухне. Но в этот час мадам Жиразоль всегда уже спала. Моя экономка крайне ревниво относилась к вверенным ей апартаментам. Она поддерживала в кухне хирургическую чистоту и, уж конечно, не забывала выключать свет. Я окликнула ее, но услышала только какой-то шорох. Все это было неприятно. Я подозвала Плаксу и достала из бюро оружие – крошечный дамский револьвер, инкрустированный перламутром, – подарок Шанель. Меня успокаивала мысль, что грабитель, скорее, уделит бы внимание немногим моим драгоценностям и столовому серебру, чем многочисленным кастрюлькам и кокотницам мадам Жиразоль.

Франсуа сидел на кухонном столе и болтал ногами. Дверцы холодильника, прекрасного американского холодильника, были распахнуты, как и оконные рамы. Франсуа щедро намазал на огромный кусок багета паштет и теперь оценивающе рассматривал кусок овернского сыра, к которому я с детства питала слабость.

– Даже не думайте, – сказала я, следя за тем, чтобы мой голос не дрожал. – Это мой любимый сыр, и я не уступлю ни крошки под страхом смерти. – Франсуа ухмыльнулся. – Приятно видеть вас снова. И в добром здравии, насколько я могу судить?

– Вы здорово подлатали меня, доктор. Я попал в лихой переплет тогда, и мне пришлось бы туго, если бы не вы, – ответил Франсуа с набитым ртом.

– Сварить вам кофе?  
– Давайте я сам, – предложил он. – Не думайте, я умею. Я даже работал как-то в ресторане. Очень шикарном.

– Это там вас научили входить через окна и закусывать, сидя на столе?

Опять ухмыльнувшись, он сполз на стул.

– Понимаете, это окно единственное, в котором была открыта форточка. Ваша домоправительница оставила ее для проветривания, и я воспринял это как приглашение.

– Но как вы узнали, где я живу?

– Я проследил за вами.

– Для чего?

– Чтобы нанести визит вежливости, конечно!

– Не поинтересовавшись, приятен ли мне будет этот визит?

Франсуа судорожно вздохнул.

– Чертов паштет, в нем столько чеснока! Странная вы девица – сыр у вас северный, а паштет во вкусе настоящего южанина. Если бы не этот чеснок, я бы поцеловал вас сейчас, и все вопросы оказались бы сняты.

– Вы получили бы пощечину, а потом вам все равно пришлось бы отвечать на вопросы.

Его ярко-синие глаза сверкали, как самые дорогие сапфиры.

– Но за что же вы хотите меня бить, Катрина?

– Вы удрали в прошлый раз, не простившись.

– У меня появились срочные дела!

– Вы проникли в мой дом, как вор.

– Простите, я не мог придумать ничего, чтобы получить приглашение. Такой приличный дом... Разве в нем принимают оборванцев вроде меня?

– Но я могла застрелить вас. Или мой пес...

– Бросьте. Дырявить того, кого вы так ювелирно заштопали, вы бы не стали. А этот пес, даже не знаю, для кого он может представлять опасность. Он хотя бы кошку может задушить?

И в самом деле, Плакса вился у его ног, выпрашивая паштет и ласково повизгивая.

– Плакса обожает кошек!

Франсуа пожал плечами:

– Вот видите...

Все мои аргументы рассыпались в прах. Вздохнув, я отобрала у Франсуа его огромное канапе и откусила кусок.

– Теперь вы можете поцеловать меня, – сказала я с набитым ртом. – Я тоже ела этот ужасный паштет.

Кофе остыл. Мы к нему так и не притронулись.

– Теперь ты подружка апаша, – сказал мне Франсуа утром. – Ты впустила меня в свою жизнь, голубка, и, может быть, тебе придется об этом сильно пожалеть.

– Хочешь сказать, ты придешь еще? – спросила я, наблюдая, как он одевается. Мне доставляло радость видеть его обнаженным, следить за его свободными движениями – это было внове, это было остро, нежно, неизбежно.

– Разумеется. Я тебе еще надоем. Тебе придется травить меня собаками и стрелять из револьвера, чтобы прогнать. А почему я не должен приходить?

– Я старше тебя.

Я сказала первое, что пришло мне в голову, и тут же поняла, что этого мне говорить не следовало. Моя мать ни за что бы такого не сказала.

Франсуа рассмеялся.

– Ты девчонка, просто девчонка! Юная и резвая, как чижик, и хищная, как пантера. До которого часа ты работаешь сегодня?

– Возьми ключи. Лазать каждый раз через окно для тебя может быть утомительно. Хочешь заехать за мной после работы?

– Заехать? На чем, хотел бы я знать? Только если на своих двоих.

– Возьми мой автомобиль. Только съезди его заправить. Деньги в бюро.

Он, полностью одетый, сел на край кровати и нежно поцеловал меня в лоб.

– Ты не боишься доверить мне, малышка? Не боишься, что я обворую тебя и скроюсь?

– Я же хищная, как пантера. Я догоню и разорву тебя в клочки.

Он снова поцеловал меня и стал перекидывать ключи из одной ладони в другую.

– Ты в самом деле апаш, Франсуа? – спросила я.

– Что ты, моя дорогая, я пошутил. Я уже говорил тебе – я не вор, не грабитель. Я – маки́, я – партизан.

## Глава 5

Мое тихое, замкнутое житье окончилось в то утро. Вилла «Легкое дыхание» снова встречала гостей, как в те блаженные времена, когда тут жил и творил великий русский композитор. Но теперь это были гости другого рода. Они не приезжали в шикарных автомобилях, а приходили пешком, под покровом ночи или ранним утром. Они приносили не цветы и фрукты, а непонятные свертки, которые сразу отправлялись в подвал. Они не пили чинно шампанское в позолоченной гостиной, поскольку чаще всего были голодны и вино предпочитали миску горячего супа и хлеб с маслом.

– Мадемуазель, это приличные люди? – волновалась моя домоправительница.

– Уверяю вас, мадам Жиразоль. Быть может, это самые приличные люди, которых можно встретить в наше время.

– Но они удивительно похожи на оборванцев! Вы уверены, что их можно принимать? А что скажет ваша матушка?

Я только развела руками, и моя бедная домоправительница стала готовить простые и обильные обеды, время от времени повторяя:

– А все же приятно, когда можно снова кормить большую семью!

У нас была странная семья, что и говорить. Франсуа почти жил у меня, время от времени пропадая на сутки, на двое. И еще у нас гостили его кузены – двое, трое, четверо кузенов. Один из них был испанцем.

– Дорогой, и Селестино тоже твой кузен?

– Конечно, моя крошка. Одна из тетушек вышла замуж за испанца... Знаешь, мои тетушки были очень неразборчивы в матримониальном смысле. Одна даже вышла замуж за еврея. Кузина Рахиль с детьми хотела бы погостить у нас, ты не возражаешь?

Я не возражала, и через несколько дней на пороге появилась высокая истощенная женщина. За руки она вела двух детей, двойняшек, одетых с мучительной тщательностью в бархатные красные пальтишки – и уж совсем не подходила к ним желтая звезда, нашитая на груди! Сама же она была одета кое-как, в вещи с чужого плеча – джемпер висел на ней, как на вешалке, подол шерстяной клетчатой юбки густо облепила грязь, и я узнала на ней резиновый плащ садовника, который Франсуа позаимствовал из клиники во время своего первого визита. В огромных глазах у женщины плескался ужас. Кажется, она даже не могла говорить от волнения и не могла переступить порог. Я помогла ей войти и стала снимать с детей шапочки. Две хорошенькие девочки, кудрявые, каштаново-рыжие, с такими же, как у матери, прекрасными глазами. Теплая волна толкнула меня в сердце, и вдруг я пожалела, что это не мои дети. Я дала им куклу-балерину и велела погладить Плаксу – тот в полном восторге крутился под ногами у детей, словно обретя смысл жизни. Воркуя на своем детском языке, девочки принялись тянуть пса за уши. Их мать все так же стояла посреди гостиной, словно боясь прикоснуться к чему-нибудь, чтобы не запачкать. Тщетно – с ее подола на ковер падали тяжелые грязные капли.

– Что же вы, присядьте. Сейчас приберут вашу комнату, и вы сможете отдохнуть, – сказала я ей.

И вдруг моя гостя заплакала – зарыдала в голос. Прежде чем я успела опомниться, она упала на колени, схватила мою руку и стала целовать ее, смачивая слезами.

– Да перестаньте же! И не плачьте, я терпеть этого не могу. Вы друзья Франсуа, а значит, и мои друзья тоже. Другьям же нужно помогать, так ведь?

Она перестала целовать мне руки, но так и не встала с ковра.

– Я кузина Франсуа, – сказала она, опустив глаза, – проездом в Швейцарию.

– Ага, и тот испанец тоже его кузен. Со дня на день жду темнокожих кузенов и двоюродных племянников-самоедов. Рахиль, я что, похожа на дурочку? Разумеется, у психиатров со временем проявляются некоторые странности, но не до такой же степени. Знаете, давайте вы просто будете моей подругой. У меня когда-то была подруга, но наши жизненные пути разошлись.

Я говорила правду: на днях я узнала, что муж Рене стал членом правительства Виши. Сама же Рене ничуть не утратила своего горячего патриотизма: она писала мне, что надеется на избавление Франции от евреев и коммунистов...

– Давайте для начала попробуем вас переодеть? Мне кажется, тот наряд, что на вас, немного потерял актуальность. Мои тряпки тоже не первой моды, я давно не обновляла гардероб. Но, кажется, у нас один размер?

– Раньше я была куда полнее, – откликнулась Рахиль, постепенно приходя в себя. – Но с тех пор как начались эти преследования, мне кусок в горло не идет.

– Все к лучшему, – усмехнулась я. – Знаете, моя ма... Моя тетушка считает, что главное достоинство женщины – стройная фигура.

Мы прошли в мою комнату, и я раскрыла дверцы шкафа.

– Это же Шанель! Платья от Коко Шанель! О-о, у меня был когда-то ее костюм. Мой муж предпочитал дарить мне драгоценности, говорил, что это идеальное вложение средств, а следование моде считал транжирством. И все же он сделал мне такой подарок на годовщину свадьбы. Я была уверена, что это первая и последняя вещь Шанель, которую я ношу. И вот, надо же такому случиться... Целый шкаф!

Женщина – всегда женщина. С розовой после ванны кожей, с мелко вьющимися локонами, Рахиль помолодела и похорошела. Я увидела, что она молода, моложе меня. И мои платья были ей к лицу намного больше, чем мне! Платья от Шанель. Я выбрасывала ей в руки то одну, то другую вещь, мы создавали невероятные сочетания и от души веселились, словно и не было никакой войны, оккупации, режима Виши, словно сама Рахиль и ее дети не подвергались сию минуту ужасной опасности быть отправленными в лагерь смерти...

Ночью Франсуа сказал мне:

– Ты подружилась с Рахилью?

– Да.

– В кои-то веки ей повезло.

– Что такое «Весенний ветер»?

– Где ты это слышала?

– Неважно.

– Пятнадцать тысяч евреев схватили и поместили на велодроме. Там не было ни пищи, ни воды. Женщины, дети, старики, больные... В чудовищной тесноте. Знаешь, над велодромом висел желтый туман от испарений. Полицейские утрамбовывали их, подгоняя дубинками. И всех отправили в лагерь. Это сделали Петен и Пеллапуа. После отправки транспорта на велодроме остались мертвые тела. Рахиль повезло. Она чудом сумела спрятаться. Наши люди нашли ее. Ее нужно будет вывезти из Франции. Она горюет по мужу, которого арестовали еще раньше.

– Куда их отправили?

– Мы не знаем. Правительство Виши открыло свои лагеря, пятнадцать лагерей. Там люди умирали от голода и болезней... Но их хотя бы не убивали в газовых камерах. Теперь транспорт идет и в Освенцим. Будь добра к ней и к детям, они избежали смертельной опасности... Но все еще в опасности.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.